

САРКОФАГ



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Саркофаг

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Саркофаг / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Одинокий буксировщик Корин двенадцать лет возит чужой груз через пустоту, сторонясь людей и живого, — пока не оказывается на самой большой находке в истории человечества: трёхкилометровый чужой объект на краю системы, который корпорация «Гелиос-Прайм» готовится вскрыть в прямом эфире. Планетолог Ковач называет находку не сундуком, а гробом. Пилот Ная слышит в ней обещание встречи. Директор Голт видит патент века. Когда резак касается древнего камня, из него отвечает то, что запечатали не зря, — и весь путь корабля-приманки оказывается коротким. Повесть о цене любопытства, высокомерия и трёх глаголах: не буди, не режь, не корми.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Груз	5
Часть 2. Разрез	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Саркофаг

Часть 1. Груз

Корин простукивал переборку костяшкой — по одной заклёпке в секунду, как врач, слушающий чужую грудную клетку, — и «Дворняга» отвечала ему ровным, чуть простуженным гулом. Гул означал: держит. Всё держит.

Он знал этот корабль лучше, чем кого-либо из живых, и это его устраивало. Железо не лгало. У железа была честность камня: приложи достаточно силы — сломается, не приложи — стоит. Никаких вопросов, на которые не хочется отвечать.

За переборкой шёл третий контур охлаждения, старый, латаный, с подсвистом на четвёртой секунде цикла. Корин ждал подсвиста. Подсвист пришёл — тонкий, как жалоба. Он опустил руку и сделал пометку в засаленном блокноте: сальник, следующая стоянка. Стоянки у него теперь были редки. Он предпочитал космос портам. В портах были люди, а люди хотели говорить.

На пульте мигал вызов. Третий за час. «ГЕЛИОС-ПРАЙМ / ДИР. ЭКСПЕД. ГОЛТ» — значилось в строке, и рядом дёргался красный флажок приоритета, который Голт цеплял ко всему, даже, наверное, к обеду. Корин посмотрел на флажок так, как смотрят на муху за стеклом. Потом протянул руку и приглушил канал. Не отключил — за отключение корпоративного вызова полагался штраф, вычитаемый из платы, — а именно приглушил, спустил в фон, где голос директора превращался в комариное нытьё.

За это платили. За то, чтобы тащить их железо через полсистемы и терпеть комариный писк, платили достаточно, чтобы потом год не видеть ни одного лица.

Двенадцать лет он возил массу. За двенадцать лет привыкаешь к тишине так, что чужой голос начинает царапать. Он знал буксировщиков, которые не выдерживали и года: одиночество выедало их изнутри, они начинали разговаривать с приборами, потом приборы начинали отвечать. Корина одиночество не выедало. Оно его держало — плотно, ровно, как вакуум держит корпус снаружи, не давая распасться. Он заслужил это одиночество. Он заплатил за него сполна и теперь тратил сдачу, медленно, год за годом, рейс за рейсом, и на цену не жаловался.

Он развернул кресло к иллюминатору.

Объект занимал уже треть неба.

Гелиос назвал его «Гесперидой» — красиво, с претензией, в честь тех, кто стерёг золотые яблоки на краю мира. Корину имя не нравилось. Гесперида стерегла сад; за садом полагалось золото; за золотом полагались герои, которые придут и возьмут. В самом названии уже пряталась развязка, которую они хотели.

Сам он про себя звал его иначе — саркофаг. Не думая, откуда взялось слово. Оно пришло в первый же день, когда «Дворняга» вышла на визуальную дистанцию, и осталось.

Объект был длинным — километра три, может, больше, — тёмным, как обугленная кость, и неправильным. Неправильность была не в форме; форма как раз читалась: вытянутая капля, оплавленный нос, испещрённые бороздами бока. Неправильность была в том, что он выглядел закрытым. Не пустым, не мёртвым — закрытым. Заклёпаным снаружи. У Корина был на такие вещи глаз, выжженный однажды и навсегда.

Он смотрел на него уже двенадцать дней подряд, всю дорогу сюда, и за двенадцать дней объект не стал понятнее — только больше. Сначала точка. Потом ноготь на вытянутой руке. Потом стена. Теперь — треть неба, и Корин ловил себя на том, что старается не поворачиваться к иллюминатору спиной. Глупость. Камень есть камень, три километра мёртвого камня,

летящего сквозь пустоту миллионы лет. Но было в нём что-то, от чего хотелось держать его в поле зрения — так держат в поле зрения крупную чужую собаку, которая ещё не решила, кусаться ей или нет.

Он поймал себя на том, что трёт большим пальцем шнурок на шее. На шнурке висел транспондер-ключ — маленький, потёртый, с чужого корабля, которого больше не было. Ключ от трюма, который Корин однажды вскрыл. Он заставил себя опустить руку.

Комариный писк в фоне сменил тон — Голт перешёл к угрозам или к обещаниям, отсюда не разобрать. Корин не стал разбирать.

— Держит, — сказал он вслух, ни к кому. Костяшка сама поднялась и стукнула по переборке. — Всё держит.

Корабль загудел в ответ. Пока это была правда.

Канал ожил без предупреждения — не корпоративный, а прямой, пилотский, с той характерной чистотой, которую Корин узнавал раньше, чем слышал голос.

— «Дворняга», ты живой там? Или опять притворяешься железякой?

— Одно другому не мешает, — сказал Корин.

Ная засмеялась. Смех в наушнике был тёплым и близким — ближе, чем три километра вакуума между её «Фаэтоном» и его буксиром. За недели подхода этот смех стал единственным звуком на борту, который издавал не механизм.

Они познакомились по связи на вторые сутки подхода — она вызвала его уточнить массу груза, а осталась болтать на двадцать минут; и на третьи сутки вызвала снова, и на четвёртые. Корин, который двенадцать лет отвечал на пилотские вызовы одним словом и отключался, вдруг обнаружил, что ждёт этих вызовов. Он ей об этом не говорил. Он вообще мало что говорил ей прямо. Но он перестал глушить входящие в её вахту — и это было признание, которого он сам за собой не заметил.

— Голт тебя вызывал, — сказала она. Не вопрос.

— Голт всех вызывает. Голт вызвал бы вакуум, если бы вакуум ему задолжал.

— Ты его в фоне держишь, да? — В голосе было веселье и что-то ещё, осторожное. — Он это видит, знаешь. У него панелька, где горит, кто его слушает. Ты у него горишь серым.

— Значит, панелька работает.

Помехи прошелестели и стихли.

— Ты бы послушал сегодня, — сказала Ная тише. — Не его. Ковач. Она будет говорить на брифинге. Она нашла что-то в сканах.

— Я вожу железо. На брифинги не хожу. На брифингах решают, а я уже привёз.

— Ты привёз резак, Корин. — Веселья в голосе не осталось. — Ты понимаешь, что ты привёз? Они собираются его вскрывать.

Он понимал. Он вёз их две недели, эти резак, тяжёлые, как совесть, — плазменные контуры, способные пройти корпус линкора. Он старался о них не думать. Это была работа. Масса есть масса; ты цепляешь трос и тащишь, и не спрашиваешь, что на другом конце будут с этим делать.

— Это их находка, — сказал он. — Их право.

— Ты в это веришь?

Корин смотрел на «Гесперид». На закрытый, заклёпанный бок длиной в три километра.

— Я верю, что мне заплатят, — сказал он. — Остальное не моё дело.

— Знаешь, что я думаю? — Ная не стала спорить в лоб; она никогда не спорила в лоб, она заходила сбоку, как заходят на посадку против ветра. — За всю историю мы ни разу никого не встретили. Ни одного голоса. Мы кричали в темноту сто лет и слышали только эхо. А тут — вот оно. Настоящее. Чужое. Пришло само.

— И ты хочешь его обнять.

— Я хочу его услышать. — Тихо, убеждённо. — Ты представляешь, Корин, что это значит — узнать, что мы не одни? Что там, снаружи, кто-то был? Мир после этого не может остаться прежним. Он должен стать больше. Мы должны стать больше.

— Ты так говоришь, будто уже знаешь ответ, — сказал Корин.

— Я знаю вопрос. — Голос стал тише, потерял лёгкость. — Я выросла на станции, которая умирала медленно. Целый маленький мир, и он гас по одной лампе за раз, и все вокруг делали вид, что лампы не гаснут. Знаешь, что я тогда поняла? Что хуже смерти — только смерть в пустоте. Умереть и знать, что никто никогда не узнает, что ты был. — Пауза. — Если там, снаружи, кто-то есть — значит, ни один погасший мир не гас зря. Кто-то помнит. Кто-то считает.

Корин молчал. Он не знал, что на это ответить, и молчание затянулось на несколько секунд помех, прежде чем он нашёл слова, — а когда нашёл, они были не про неё, а про себя. Он знал этот тон. Он сам когда-то говорил таким — про находку, про премию, про то, как всё изменится, когда они вскроют трюм. Тон человека, который смотрит на закрытую дверь и видит за ней подарок.

— Ная, — сказал он наконец. — Не все двери запирают, чтобы спрятать сокровище. Некоторые запирают, чтобы что-то не вышло.

Помехи. Долгие.

— Ты сегодня мрачный даже для себя, — сказала она, и лёгкость в голосе была натянутой. Потом, без перехода, другим голосом — рабочим, пилотским: — Слушай. Когда привезёшь последний контейнер — не отцепляйся сразу. Останься пристыкованным. На всякий.

— На какой всякий?

— Просто. — Пауза. — Мне спокойнее, когда ты рядом. У тебя единственный корабль на всю экспедицию, который умеет уходить быстро.

Корин должен был сказать «нет». Отцепиться, сдать груз, взять плату и уйти в темноту, где нет ни Голта, ни брифингов, ни закрытых дверей длиной в три километра. Это было бы правильно.

— Останусь, — сказал он.

Он сам не понял зачем.

«Фаэтон» пах деньгами и страхом — двумя запахами, которые Корин научился различать давно. Деньги пахли новым пластиком, свежей краской по логотипу, кофе, который никто не допивал. Страх пах потом под свежей краской.

Он пришёл подписать манифест. Это была единственная причина, по которой независимого буксировщика пускали в кают-компанию флагмана: бумага. Кто-то должен был расписаться, что резак доставлен в целости, и этим кем-то был Корин.

Кают-компания была полна. Голт стоял у голоэкрана, и на нём была та безупречность, которая в невесомости давалась только усилием, — воротник лежал ровно, будто прищипленный, волосок к волоску. На виске поблёскивала линза-визуализатор. Корин знал, что она знает: всё, что видит Голт, уходит в эфир. Директор не просто смотрел на «Гесперид». Он транслировал свой взгляд на неё восьми миллиардам человек.

— ...и вот почему это не просто открытие, — говорил Голт голосом гладким, отрепетированным, созданным для того, чтобы под него подписывали чеки. — Это порог. По ту сторону — технология, которая строит сама себя. Производство без фабрик. Энергия без топлива. Конец дефицита как явления. — Он улыбнулся в линзу. — История не помнит вторых, друзья. И не помнит осторожных.

По кают-компании прошёл одобрительный гул. Корин прижался к переборке у входа и стал искать глазами, где расписаться и уйти.

— Это гроб.

Голос был негромкий, сухой, женский. Гул стих.

Женщина у дальней стены не встала — в невесомости не встают, — но как-то развернулась к центру так, что стала центром. Немолодая, седая прядь через висок, потрёпанный наручный рекордер, который она держала в поле зрения, будто следила, чтобы он писал. Корин её не знал. По тому, как на неё посмотрел Голт, он понял, что и Голт предпочёл бы не знать.

— Доктор Ковач, — сказал директор с терпением, которое было хуже гнева.

— Вы называете это сундуком, потому что хотите золота. — Ковач говорила ровно, ни на кого конкретно, будто диктовала. Рекордер в её руке мигал. — Я называю это гробом, потому что видела крышку. Объект симметричен по трём осям. Внутренняя структура — с признаками активного подавления, консервации, карантина. Его не потеряли в космосе. Его запечатали. Тщательно. С той тщательностью, с какой запечатывают не сокровище, а проблему.

— У вас есть красивая гипотеза, — сказал Голт.

— У меня есть данные.

— У вас есть интерпретация данных. — Голт развёл руками, обращаясь к комнате, к линзе, к восьми миллиардам. — И это ценно, правда ценно. Но давайте будем честны об одной вещи. — Он выдержал отработанную паузу. — Гипотезы не патентуют.

Смех. Осторожный, но смех. Ковач не изменилась в лице. Она уже слышала этот смех раньше, понял Корин; она слышала его всю жизнь.

— Молчащий ковчег, — сказала она, и в наступившей тишине голос её был очень тихим и очень ясным, — молчит не зря.

Никто не засмеялся. Но никто и не возразил. Голт уже отвернулся к экрану, уже говорил что-то про график, про окно трансляции, про «завтра, в прямом эфире, на весь мир». Момент прошёл, растворился в логистике, как растворяется всё неудобное.

Корин нашёл планшет с манифестом. Приложил палец. ДОСТАВЛЕНО. ПРИНЯТО. К. КОРИН. Ключ Тимо качнулся на шнуре, стукнул о край планшета — тихо, костяно.

Вот этими руками, подумал он, я притаил то, чем сейчас будут это резать. Мысль была неудобная, и он сделал с ней то же, что делал с неудобными мыслями двенадцать лет, — отложил, как откладывают счёт, который нечем оплатить.

Он посмотрел ещё раз на седую женщину с рекордером. Она смотрела на «Гесперид» на экране — на длинный тёмный бок, на борозды. Смотрела так, как смотрят на закрытую дверь, зная, что за ней.

Корин узнал этот взгляд. Он видел его в зеркале.

Он расписался и ушёл.

Он не должен был это видеть.

Он уже отстыковался бы — груз сдан, бумага подписана, — но Ная просила остаться, и он остался, зависнув на «Дворняге» в двух сотнях метров от корпуса «Фазтона», в тени флагмана, наблюдая, как в этой тени суетятся огни.

Пробный скан начали в третью вахту, когда половина экипажа спала. Корин понял это по приборам раньше, чем по связи: «Дворняга» дёрнула стрелками, датчики поля пошли вверх, и в наушнике фоновый шум эфира на секунду свернулся в тонкий, ноющий тон, будто где-то далеко провели пальцем по краю бокала.

— Что это, — сказал он. Не Нае, никому. Приборам.

Приборы не ответили. Тон стих.

Он вызвал канал. Не пилотский — общий, рабочий, куда стекались доклады сканирующей группы. Голоса были деловые, скучноватые, ночные.

— ...глубинный скан, третья серия, мощность семьдесят.

— Отклик по борту?

— Ноль. Как стена. Мёртвая порода.

— Поднимаем до девяноста.

Пауза. Гул несущей.

И тогда «Гесперида» ответила.

Корин увидел это раньше, чем услышал доклад. По тёмному боку объекта, вдоль одной из борозд, прошёл свет — не отражение, не блик прожектора, а собственный, изнутри: холодный, белёсый, без единого градуса тепла, будто светилась не поверхность, а что-то под ней, сквозь три километра камня. Свет пробежал по борозде и погас. Одна секунда. Может, две.

На «Дворняге» дозиметр щёлкнул и замолчал.

В общем канале на миг стало тихо. Потом — взрыв голосов, перебивающих друг друга:

— Отклик! Есть отклик по борту!

— Что за черта, откуда...

— Пишите, пишите всё, полная телеметрия...

И поверх — голос Голта, вклинившийся откуда-то, с той радостной, хищной интонацией, которую Корин уже ненавидел:

— Вот оно. Вы видели? Вы это видели? — Директор почти смеялся. — Оно реагирует. Актив реагирует на воздействие. Это не мёртвый камень, друзья, это живая система, и она отзывается. — Пауза, короткая, торжествующая. — Инвестиция дышит.

Корин смотрел на бок объекта, где только что был свет и снова была тьма.

Голт услышал: актив дышит.

Корин услышал другое.

Он услышал, как что-то очень старое, очень терпеливое и очень большое приоткрыло один глаз в темноте — потому что кто-то постучал в дверь, которую три километра камня и целая мёртвая цивилизация запирали ровно затем, чтобы в неё больше никто никогда не стучал.

Костяшка сама поднялась к переборке — и остановилась на полпути. Впервые за годы Корину не захотелось слушать, что скажет корабль.

Он опустил руку и стал смотреть в темноту, где спало то, что они только что называли инвестицией.

Часть 2. Разрез

Вскрытие назначили на следующую вахту, и весь мир пришёл смотреть.

Корин смотрел тоже — не из любопытства, а потому что не мог оторваться, как не можешь оторваться от медленно падающего стакана. На главном экране «Дворняги» шла трансляция Гелиоса: логотип, обратный отсчёт, лицо Голта, подсвеченное так, чтобы морщины читались как опыт, а не как возраст.

— Через два часа, — говорил Голт в камеру, — человечество откроет дверь, за которой его ждёт следующая тысяча лет.

Внизу экрана бежала строка со счётчиком зрителей. Он рос на несколько тысяч в секунду. Полтора миллиарда. Два. Весь мир бросил свои дела, чтобы посмотреть, как «Гелиос-Прайм» открывает будущее в прямом эфире, — и Корин поймал себя на мысли, что Голт не случайно назначил вскрытие под трансляцию, а не наоборот. Сначала была аудитория. Наука пришла потом, чтобы аудитории было на что смотреть.

За его спиной, в кадре, у пультов работала группа. Корин узнал среди них Наю — по посадке головы, по тому, как она держалась чуть в стороне. Рядом с ней, тоже в стороне, была Ковач.

Он прибавил звук общего канала.

— ...вношу в протокол особое мнение. — Голос Ковач, сухой, ровный, но громче обычного: она говорила для записи, для истории, для того единственного суда, которому доверяла. — Объект классифицирован мной как карантинное сооружение. Вскрытие сопряжено с неизвестным, но потенциально невозполнимым риском. Я требую, чтобы возражение было зафиксировано с моим именем и датой.

— Зафиксировано, — сказал Голт, не оборачиваясь. Тон был лёгкий, почти ласковый. — Доктор Ковач любит, чтобы её имя было на бумаге. Мы это уважаем.

Смех в кают-компании. Тот же осторожный смех.

И тогда заговорила Ная.

— Я тоже вношу.

Корин замер.

— Пилот высадки Ная Тарен. — Голос в канале был не такой ровный, как у Ковач; в нём слышалось, как колотится сердце, но она не остановилась. — Я поддерживаю особое мнение доктора Ковач. Мы не знаем, что внутри. Мы даже не знаем, задаём ли мы правильный вопрос. Прежде чем резать, надо хотя бы...

— Пилот Тарен. — Голт наконец обернулся. Он улыбался. Он смотрел прямо в линзу на своём виске — то есть прямо в глаза восьми миллиардам. — Напомните мне. За что вам платит «Гелиос-Прайм»?

Тишина.

— За... — Ная запнулась. — Я пилот высадочного модуля.

— Вы сажаете челнок, — мягко подсказал Голт. — Прекрасно сажаете, я читал ваше досье. Мы платим романтикам за то, чтобы они хорошо сажали челноки. За философию мы платим философам. — Пауза. Улыбка стала шире. — И, честно говоря, даже философам мы платим не за то, чтобы они мешали работать.

Смех. На этот раз громче — разрешённый сверху, безопасный. Кто-то даже похлопал.

Канал донёс короткий, давленный звук — Ная выдохнула, будто её ударили под дых. Потом тишину. Она не ответила. Ответить было нечем: восемь миллиардов только что услышали, что она романтик, которому платят за посадку, и это осталось в записи навсегда.

Корин сидел в темноте своей рубки и слушал эту тишину, и в нём медленно, знакомо поднималось то, что он годами давил в себе, — не жалость даже, а узнавание. Он знал, каково

это: сказать правду человеку с деньгами и услышать в ответ смех. Он тоже когда-то был в комнате, где смеялись. Только тогда смеялись над тем, кто предупреждал, а он, Корин, смеялся вместе со всеми — и через неделю хоронил брата.

Тимо было двадцать три. Тимо верил расчётам старшего брата так, как верят закону природы. Корин сказал ему: трюм запечатан, но за печатью — премия, которая изменит всё; печать старая, разгерметизации не будет, я посчитал. Он посчитал. Он ошибся в одном знаке, в одном допущении, в одной строчке, которую поленился перепроверить, потому что уже видел за дверью подарок. Дверь вскрыли. Подарка не было. Была декомпрессия, и вакуум, и восемь секунд, за которые Корин успел схватиться голой рукой за мёрзлую скобу — и не успел схватить брата.

С тех пор он не вскрывал запечатанное. И с тех пор он слушал корпус костяшкой — потому что однажды не расслышал, как тонко жалуется металл перед тем, как убить.

Он протянул руку и открыл прямой канал.

— Тарен, — сказал он.

— Не сейчас, Корин. — Голос был сдавленный.

— Он идиот, — сказал Корин. — Дорогой, отглаженный идиот. Ты сказала правильную вещь. Правильные вещи в таких комнатах всегда звучат смешно. Это не про тебя. Это про комнату.

Помехи. Долгий вдох.

— Спасибо, — сказала Ная очень тихо. И отключилась.

Через час после трансляции на пульт «Дворняги» упало сообщение — не от Голта, от юридического отдела Гелиоса. Корин прочитал его дважды.

Стандартная формулировка, обёрнутая в вежливость: в связи с переходом к активной фазе операции присутствие вспомогательных бортов в зоне вскрытия более не требуется; буксир «Дворняга» освобождается от дальнейших обязательств; оплата будет произведена согласно графику.

Он был свободен.

Более того — он был свободен по их вине. Контракт, который он подписал, содержал пункт о безопасности: никаких работ, сопряжённых с невозполнимым риском, без единогласного согласования научной группы. Ковач внесла особое мнение. Единогласия не было. Технически — Корин перечитал мелкий шрифт, старая привычка — Гелиос нарушил собственный контракт первым. Отцепись он сейчас, уйди в темноту — и ни один суд не смог бы вычестить из его платы ни кредита. Он ушёл бы чистым. Правым. Одиноким, как любил.

Всё в нём говорило: уходи.

Он знал эту логику наизусть, он выстроил на ней жизнь. Не трогай. Не привязывайся. Единственный способ никого не погубить — не иметь никого, кого можно погубить. Отцепись, буксир. Сдай трос. Уходи в темноту, где железо не лжёт, где никто не смеётся над правдой и никто не хоронит брата.

Корин положил руки на пульт отстыковки. Два тумблера, последовательность из четырёх движений, тридцать секунд — и он один.

Он смотрел на тумблеры.

Потом на экран, где в тени флагмана сутились огни, где к тёмному боку «Гесперид» уже подводили резак, которые он привёз. Его резак. Он их дотащил. Масса есть масса; ты цепляешь трос и не спрашиваешь, что на другом конце. Он всегда так говорил. Это было удобно. Это снимало вес.

Двенадцать лет он снимал с себя вес — рейс за рейсом, трос за тросом: чужой груз, чужие решения, не моё дело. И вот вес вернулся весь разом, потому что груз на этот раз был его, дотащенный его руками, и решение было тоже его: остаться или уйти. Не моё дело больше не работало. Дело было его.

Где-то там, среди огней, была женщина, которой при всём мире сказали, что она романтик, годный только сажать челнок, — и которая всё равно попросила его остаться. На всякий.

— Чёрт, — сказал Корин.

Он снял руки с тумблеров.

Он не отстыковался. Он не сказал себе, что это разумно, — это было неразумно, это было ровно то, чего он не делал двенадцать лет. Он просто остался, потому что часть его — маленькая, придушенная, которую он считал умершей вместе с Тимо, — не могла улететь в темноту и оставить её там одну, у закрытой двери, с людьми, которые смеются.

Он вызвал Наю.

— Я остаюсь пристыкованным, — сказал он. — Слышишь? Что бы ни было. Если понадобится уйти быстро — я тут. Движки холодные, подниму за девяносто секунд.

Пауза.

— Ты же хотел уйти, — сказала она. — Я видела твой борт на схеме. Ты уже разворачивался.

— Передумал.

— Почему?

Он не знал, как ответить правду, поэтому сказал полуправду, которая была честнее правды:

— Потому что кто-то должен быть трезвым, когда все пьяны. — Он помолчал. — И потому что у тебя, кажется, единственная трезвая голова на всём этом корабле, а трезвых нельзя оставлять одних среди пьяных. Плохо кончается.

Тихий звук в канале. Возможно, смех. Возможно, нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.